

Н. А. и А. А. ЛЕБЕДЕВЫМ

Сии, облеченные в белые одежды,
кто они и откуда пришли?

*Откровение
Иоанна Богослова*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Стоял тихий сентябрь. Воскресное утро, может быть последнее ласковое утро уходящего лета, тихо, как младенец, играло солнечными пятнами и тенями. Громадный институтский парк дремал, раскинувшись на двух холмах, которые здесь назывались Малой Швейцарией. Он был весь разбит поперечными и продольными аллеями на правильные прямоугольные клетки. С одной стороны в конце каждой поперечной аллеи светилась пустота, там угадывался провал, и оттуда, из легкой дымки, иногда доносился низкий рев парохода. Там была река. С противоположной стороны вдалеке среди зелени мелькали розовые стены корпусов сельскохозяйственного института.

Вдоль главной — Продольной — аллеи, которая шла почти по краю провала, сидели на решетчатых скамьях студенты с книгами. Уже начался учебный год. Далеко внизу между деревьями прыгал волейбольный мяч, время от времени аллею пересекал бегун в синем обтягивающем трико или в трусах — студент или жилистый профессор.

По этой чисто подметенной аллее между двумя рядами старых лип брел в это утро и поглядывал по сторонам человек в клетчатой, ржавого цвета ковбойке с подвернутыми рукавами и в светло-серых тонких брюках. Был он лет тридцати, невысокий, узкий в поясе, шел, сложив руки за спиной. Широкое, но худощавое лицо его с довольно заметным внимательным носом было подвижно, русая бровь иногда поднималась с изгибом — и это говорило о привычке постоянно размышлять, свойственной некоторым ученым. Была в его лице особенность: резко выделенный желобок на верхней губе переходил и на нижнюю и заканчивался глубокой кривой ямкой на подбородке — получалось, что нижняя часть лица как бы перечеркнута этой отчетливой вертикалью. Шаги этого задумчивого человека были неторопливы, и тем не менее он

догнал и оставил за собой двух странных пожилых бегунов — мужчину и женщину, обтянутых синими шерстяными трико, в белых кедах. Пара эта бежала трусцой, то есть топталась почти на месте. У мужчины розовый пробор проходил сразу же над ухом, жидкие желтовато-седые волосы прикрывали плешь. Старость цепко держала его в когтях. У женщины спортивный костюм выдавал непропорционально распределенную полноту: все ушло в верхнюю часть широкого, без перехвата, корпуса, в широкие плечи. От нее веяло волей и слегка глупостью.

Они вели беседу. Когда человек в ковбойке, узнав мужчину и поджав локоть, с почтительным поклоном огибал их, бегун посмотрел на него, полуочнувшись, и продолжал свою речь:

— Он фиксирует по Навашину. Двенадцати часов достаточно... Ему нужно быстро — тысячи гибридов, и все проверить...

Женщина сказала:

— На его микротоме можно получить срез на толщину клетки. Хорошо хромосомы считать. На помойке подобрал нами же спиланные части, отремонтировал сам — и пожалуйста... Мог и ты ведь...

— Не так просто. Все в микрометрическом винте. Он заказывал винт в Москве у какого-то мастера...

И человек в ковбойке сразу понял, о чем они говорили. Это были цитологи — специалисты по исследованию растительных клеток. От их разговора чуть-чуть потянуло и вейсманизмом-морганизмом, который месяц назад был торжественно осужден на августовской сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Шевельнув бровью, человек в ковбойке быстро оглянулся на бегунов, легко поклонился мужчине и опять не был замечен.

Потом он долго шел по аллее, размышляя о своих делах, которых было много. Аллея вывела его на лысый бугор, к его вершине, где была вкопана в землю простая лавка, и человек сел на нее — лицом к горящему внизу под солнцем разливу реки, к синим бугристым далям за рекой: там синела Большая Швейцария.

Этот человек имел отношение к науке о растениях и знал много разных вещей. Знал, например, что есть такое понятие спящая почка. У яблони ее не видно, но садовник умелой обрезкой дерева может заставить ее пробудиться, и тогда на гладком месте вдруг выстреливает новый побег. Старый знакомый человека в ковбойке селекционер-садовод Василий Степанович Цвях, любитель затейливо мыслить, однажды сказал ему, что и у человека бывает что-то похожее на это явление. Ты можешь прожить долгую жизнь и даже отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты — подлец или герой.

А все потому, что твоя жизнь так складывается — не посылает она испытаний, которые загнали бы тебя в железную трубу, где есть только два выхода — вперед или назад. Но может и послать. Человек в ковбойке никогда не пробовал примерить эту мысль к себе, но поговорить с хорошим собеседником на тему о спящих в нас загадках был готов всегда.

А между тем ему предстояло увериться, что именно в эти дни он делал свой первый шаг в ту среду, которую имел в виду садовод, — в условия, благоприятные для пробуждения какого-то спящего качества. Может быть, он даже чувствовал тугое увеличение проснувшегося ростка, но не отдавал себе в том отчета — еще не осмыслил явления, — оно бежало впереди осваивающей мысли. В те самые минуты, когда человек, сидящий на лавке, обдумывал свои дела, спящая почка уже тронулась в рост, и он уже двигался к своей железной трубе, которая в этом городе ждала его, чтобы определить, кто он — ищущий истину отчаянный смельчак или трус, прячущий под себя свои жалкие пожитки. Удивительно, что это была настоящая огромная железная труба и ей, кроме прямого дела по ее специальности, была уготована другая — историческая служба.

Шаги и голоса в аллее заставили человека в ковбойке обернуться. Это была все та же пара синих бегунов — они уже не трусили рысцой, а шли, и это получалось у них значительно быстрее. Поднявшись на бугор, они сели на ту же лавку.

— Вот так, — сказал мужчина, вытирая платком лоб и шею. — Так что ты все увидишь сама. И притом в недалеком и хорошо обозримом будущем.

— Боишься? — вполголоса спросила женщина.

— Трясусь, как балалайка.

— Тебе-то ничего не будет...

— Я полагаю, что твоя *эйфория* безосновательна, — пригвоздил он ее с неповторимым кряхтением, тоном сноба. — Последнее слово не за тобой, а за их преосвященством. А их преосвященство не любят еретиков. — Тут бегун очень весело посмотрел на незнакомца в ковбойке. Тот, дружелюбно улыбнувшись, в третий раз чуть заметно поклонился, и с этого момента бегун стал говорить только для него: — Ты помнишь, каков был Торквемада? — сказал он женщине, глядя на ее молодого соседа. — Ну, Торквемада, великий испанский инквизитор. А помнишь, чем он отличался? Религиозным энтузиазмом, богословской начитанностью...

— Ну, ты тут на своем коне. Кроме тебя, конечно, никто этого не знает и никто не читал энциклопедию, — сказала женщина, взглянув на незнакомца.

— Напрасно *персифлируешь*. Великая мастерица персифляции, — сказал бегун уже прямо мужчине в ковбойке.

Тот улыбнулся и развел руками:

— Я не знаю этого слова.

— Лесть, искусно маскирующая насмешку. Насмешку я не замечаю, а лесть принимаю. Торквемаду я упомянул здесь не напрасно. Я имею в виду не того Торквемаду, который устраивал в Испании знаменитые костры инквизиции, а другого — того, которого я здесь учил до войны цитологии, у которого принимал зачет и который стал теперь первосвященником и придет, видимо, завтра в заведение, где я работаю. И будет учинять в нем великий трус. Этот Торквемада хоть и новичок в своем деле, но, по отзывам знающих людей, стоит того, испанского. Он тоже фанатик и начитан, великий богослов в своем деле, и под его влиянием находятся кардиналы...

— Видите ли, для справедливости сравнения надо сказать, что Торквемада испанский ничего себе не брал, в отличие от других инквизиторов, и был суровейший аскет, — заметил человек в ковбойке. — Постился он по-настоящему...

— Бедным еретикам от этого не было легче, — сказала женщина.

— Никак не легче, — согласился синий бегун. — У Дарвина есть такое соображение: в Испании несколько столетий каждый человек, способный мыслить, попадал на костер. Отсюда пошел упадок мысли в стране. Я думаю, что и диктатура Франко появилась не без причинной связи с историческими обстоятельствами. Так что никакой *детумесценции* нам ждать не приходится.

— Простите...

— Я хочу сказать, страсти будут не затухать, а разгораться. Лев и кроткая лань, которые до этого кое-как терпели друг друга...

— Надеюсь, я беседую со львом? — уважительным тоном спросил незнакомец в ковбойке.

— Вот видите, и вам не чужда персифляция! Нет, нет! Какой же я лев... Вообще, львов я давно не видел... Словом, приготовимся к допросам и пыткам.

— Даже к пыткам?..

— Ну, разумеется, Железной девы там не будет. Но, знаете, мы живем сегодня, по крайней мере мы, биологи, как собачки у Павлова. Правда, в нашем эксперименте установка несколько отличается. От каждого ученого отходит резиновая трубка, по которой притекают соки, питание. Все трубки сходятся в определенном

центре. Некий академик может нажать, скажем, мою трубку, и готово — я захирел и бряк кверху лапками. Конечно, сразу не нажмет. Но уменьшит сечение, это бывает. А еще чаще — ласково к ней прикоснется, нажмет слегка и отпустит. Я тут же закричу: «Не буду! Каюсь!»

Женщина уже дергала бегуна за рукав, уже оба поднялись, чтобы идти, а тот все не мог остановиться:

— Наш Торквемада будет перебирать эти трубки, ласково их касаться, а люди будут трепетать. Чем это не Железная дева?

Тут они раскланялись, пара отошла на несколько шагов, синий бегун еще раз поклонился, и они затрусили по аллее.

Человек в ковбойке некоторое время с растерянной улыбкой смотрел им вслед и даже повторил вполголоса:

— Торквемада...

Потом он взглянул на часы — было чуть больше десяти — и поднялся. Куда пойти? Впереди был целый день. Он медленно побрел по аллее — так, чтобы не догнать синих бегунов, которые трусили вдаль. «Железная дева», — подумал он, покачав головой, и представил себе это средневековое орудие пытки, нечто вроде железного — в человеческий рост — футляра для скрипки, усаженного внутри гвоздями. Тут повеяло ветерком, и, обогнав его, пронесся длинными скачками еще один бегун — худенький, невысокий, с прижатыми локтями. Он был в нитяном тренировочном костюме, тоже синем, но поблекшем от стирок. На спине темнело пятно пота. Его фигура быстро уменьшалась, и по этому можно было судить о скорости. Слегка сбочив на одну сторону — бывает такая кавалерийская посадка, — бегун пересек аллею и рухнул в провал, сбежал по страшной крутизне на самое дно, где взлетал волейбольный мяч, и его фигура замелькала среди сосен, поднимаясь на другой склон, запрыгала ритмично, словно ее дергали на нитке. Человек в ковбойке долго смотрел ему вслед. Он узнал бегуна — когда-то слушал его лекции по генетике в этом самом институте. Это был академик Посошков. Семь лет назад — в первый год войны — он женился на своей молоденькой аспирантке. Ему тогда было шестьдесят лет. В институте ходила легенда: будто в загсе, куда он, принарядившись, привел невесту, регистраторша, подняв на них глаза, прыснула, не удержав смеха. «Разница большая?» — спросил он. «Ага», — ответила та, краснея. «Ну так смотрите», — сказал академик. Он коротко взмахнул руками и прыгнул на ее стол — утвердил свои лакированные туфли точно по обе стороны чернильницы. Выждав паузу, он опять взмахнул руками

и, не оборачиваясь, изящно спрыгнул со стола назад, попал точно на то место, где стоял раньше. «Я бы хотел, дорогая, чтобы еще кто-нибудь из приходящих сюда женихов смог проделать эту штуку». Глядя на ритмично прыгающее среди далеких сосен голубое пятнышко, бывший ученик академика чувствовал, что начинает верить в эту легенду. «Сложный человек Светозар Алексеевич», — подумал он, вздыхая и хмурясь. Академик Посошков когда-то, в тридцатых годах, был одним из известных менделистов, сторонником того учения в биологии, на котором и гитлеровский режим ухитрился построить свои расистские бредни. Конечно, никто не считал академика расистом. Если было бы иначе, ему бы несдобровать. Но все же о нем поговаривали с угрозой те, кто любит нажимать на педали и готов пустить в ход словечко «враг». А куда денешься? Этот менделизм-морганизм (иные добавляли еще к этим словам и «вейсманизм») содержит ведь тезисы, которые можно использовать. И использовали! Кто же может в двадцатом веке толковать о каком-то наследственном веществе! Чуть какая-то! Все же академик вовремя отрекся от заблуждений и читал студентам свой пересмотренный курс, убедительно ругая монаха Менделя, правда немного громогласно. Академик Лысенко — вождь мичуринской науки — никак не мог простить ему старые грехи — видно, за то, что Посошков был уж очень матерый менделист. И еще потому, что после своей перестройки и отречений он как-то быстро угас, отошел от боевой науки. Но каяться не забывал. В последний раз на августовской сессии прямо-таки кричал с трибуны. Обещал поддерживать авторитет академика Лысенко, президента агробиологов. Извинился и перед другим корифеем — академиком Рядно. Преподавал он новую — мичуринскую — биологию толково, и из его слушателей вышло много хороших ребят, убежденных противников всякой схоластики. Видимо, отрекся по-настоящему. Но отрекся ли в самой глубине души? Хотелось бы верить ему. Впрочем, сообщали, что вслед за отречением он разогнал половину обеих кафедр генетики, почти всю проблемную лабораторию. Вот и посмотрим, дорогой Учитель, как ты их разогнал...

Так думал, глядя вслед неугомонному старику, человек в ковбойке. А далекое голубое пятнышко все прыгало между соснами, поднимаясь выше и выше. Бывший ученик академика не знал еще, сколько драм и живых страстей бегут на этих тонких ногах...

«Небось и он считает, что я Торквемада, — не очень весело подумал человек в ковбойке. — А может быть, он как раз и родил это хорошенькое сравнение. Тем более надо к нему зайти, провести

учителя. Да кроме того, он еще и проректор. Через час он наверняка будет уже дома».

Он не спеша зашагал по аллее, свернул к розовевшему вдали институтскому корпусу. «По отзывам знающих людей, — вдруг вспомнил он слова синего бегуна, беседовавшего с ним, — нажмет и отпустит! — Вспомнил и тряхнул головой в сторону и вниз, и даже оскалился от стыда. — Значит, заметили во мне эту ласковость инквизитора! В чем же она выражается? Откуда взялась?»

Он шел и не замечал никого — ни тех, кого обгонял, ни тех, кто настигал его, несясь спортивной рысью. Он уже шагал по асфальту, в полосе усиленного движения. Мимо него пролетали на невиданных самодельных роликах лыжники с палками, тренирующиеся и летом, катились навстречу коляски с младенцами. Два человека века узнали его и поклонились, но он не заметил их.

— Федор Иванович! Федя Дежкин! — позвал кто-то над самым его ухом, и он очнулся. Мягкий лысоватый блондин из рыжих — бывают такие прозрачные гребешки — шел рядом, плечо к плечу с ним, и приветливо улыбался, разведя руки, словно для объятий. «Вот у кого ласковость!» — подумал Федор Иванович, узнав в соседе полковника госбезопасности Свешникова. Забытая привычка сама растянута худые щеки Федора Ивановича, и был момент, когда оба собеседника стали вдруг похожими друг на друга.

— А-а! Михаил Порфирьевич! Сколько лет, сколько зим! Небось уже генерал?

— Не-ет, все еще полковник. Это ваш брат — сегодня окончил вуз, а завтра, смотришь, уже кандидат, уже ревизует своих профессоров. Я слышал, вы приехали вейсманистов-морганистов шерстить?

— Начальство поручило...

— Ну как, бытие все еще не определяет сознания? Вы по-прежнему настаиваете?

— Уже не настаиваю, Михаил Порфирьевич. Стал старше, умнее. Но вам могу признаться: да, думаю я по-прежнему, так, как думал. А вы по-прежнему меня не понимаете.

— До сих пор! Отрицаете значение бытия!

— Простите. Я отлично сознаю, что являюсь результатом множества предшествующих процессов. Если бы не было моего бытия, не было бы и моего сознания. Но я против плоского заучивания классических формул. Против механических представлений. Результат воздействия бытия на меня будет зависеть и от моей личности. Меня нельзя сбрасывать со счета, я не молекула воды. Мож-

но ли яснее сказать? Я настаиваю вот на чем: на воздействие бытия яотреагирую самым неожиданным для многих образом.

— Посмотреть бы!

— А что — мы ведь еще поживем. Еще увидимся. Согласитесь, что августовская сессия академии была классическим фактором общественного бытия. Так вот: один академик на ней признал свои ошибки и полностью покаялся. Пал на колени перед нашим законодателем. Другой морганист, доктор наук, каялся с оговорками. А некий профессор на весь зал закричал: «Обскуранты!» — и был выведен на улицу. Видите, они не по-вашему, а всяк по-своему проявили свою суть в равных условиях.

— Но бытие может устроить вам серьезный экзамен.

— Михаил Порфирьевич, бытие своей манерой ставить нам такие пестрые и сложные задачи предполагает разные реакции. Оно само утверждает, что все мы — разные. На его экзамен яотреагирую самым неожиданным образом. Так, что само бытие удивится.

— Вы только этого с другими не развивайте. Со мной можно. А с другими не стоит.

— Не могу. Развиваю с каждым, кто любит поговорить.

— Ваш опыт должен бы вас научить...

— А что? Вы имеете в виду дядика Борика? Что-нибудь натворил?

— Нет, Борис Николаевич, слава богу, в порядке, он даже стал кандидатом наук. Но ведь это не чья-нибудь, а ваша неосторожность навлекла на него неприятности. И в судьбе его остался, так сказать, шрам... Так что хоть с этой стороны сделайте выводы. Вы где остановились — в квартире для приезжающих?

— Да, — несколько растерянно, механически ответил Федор Иванович.

— Давайте не избегайте меня. Надо нам как-нибудь, как семь лет назад, обстоятельно поговорить. О свободе воли, о добре и зле... Я уже соскучился по нашим беседам.

— Да, конечно... Понимаю...

Они простились, как и раньше прощались, чувствуя непонятное замешательство, и полковник в штатском костюме табачного цвета пошел вперед ускоренной, озабоченной походкой. Складки на спине задвигались крест-накрест, заюлил узенький зад — самое узкое место в фигуре полковника. И, как семь лет назад, голова Свешникова опять показалась настороженному Федору Ивановичу кастрюлей с двумя оттопыренными врозь и вверх ручками.

А с дядиком Бориком вот что получилось. Еще до войны, когда Федор Иванович учился здесь, у него завелся друг — этот самый

Борис Николаевич Порай, преподаватель с факультета механизации. У Федора Ивановича всю жизнь были друзья на десять—пятнадцать лет старше его. И всю жизнь Федор Иванович любил философские беседы. Получилось так, что студент заразил преподавателей этой самой мыслью о великой самостоятельности нашего сознания, о сложной, не прямой подвластности нашей личности формирующим воздействиям со стороны бытия. Дядик Борик с улыбкой стал звать Федю не иначе как Учителем, устроил среди преподавателей дискуссию. И вдруг его пригласили в так называемый шестьдесят второй дом и оставили там. Студент Дежкин немедленно отнес в этот дом свое заявление, разъясняя всю суть дела и справедливо беря ответственность на себя. Он искал следователя, а попал к какому-то начальнику — к полковнику Свешникову. Заявление приняли, со студентом побеседовали и отпустили. И с тех пор полковник стал здороваться с ним на улице, норовил упрочить знакомство. Дядик Борик все-таки посидел у них месяца три.

Но откуда этот Михаил Порфирьевич, пусть он даже полковник госбезопасности, откуда он узнал о том, что кандидат наук Дежкин приехал «шерстить вейсманистов-морганистов»? Ведь всего лишь четыре дня назад Федор Иванович сам еще не знал, для чего его вызывает академик Рядно! Кто принес сюда известие? Все те же «знающие люди»?

Четыре дня назад утром он пил свой холостяцкий чай в своей холостяцкой московской комнате, полутемной от близости другого дома, когда сосед по многокомнатной коммунальной квартире позвал его к телефону.

— Сынок? — это был хриплый носовой тенор Кассиана Дамиановича Рядно. За этот голос один недруг академика, тоже академик, сказал о нем: «Хрипун, удушенник, фагот». И это был действительно тот носоглоточный деревянный голос, который бывает слышен иногда в симфоническом оркестре. — Сынок? — спросил академик. — Ты что делаешь? Чаек пьешь? Значится, так: допивай спокойно чаек — и бегом ко мне. Я там буду через час. Давай пей чаек...

Кассиан Дамианович появился в приемной точно через час. Снял белый пыльник и, не глядя, ткнул куда-то в сторону от себя — его сейчас же приняла секретарша и унесла вешать в шкаф. Высокий, очень худой академик, колеблясь всем крепким телом, как лось, прошел к себе в кабинет и по пути сделал Федору Ивановичу властным пальцем знак — иди за мной.

Весь кабинет был увешан и уставлен выращенными академиком чудесами. В углах стояли снопы озимой пшеницы, которую

народный академик, как его называли газеты, переделал в яровую, и яровой, получившей свойства озимой. В дальнем углу скромно топорщился снопок с огромными колосьями ветвистой пшеницы, на которую возлагал особые надежды Трофим Денисович Лысенко и которая, как известно, не удалась. С этой пшеницей работал и академик Рядно, и тоже безуспешно. На стенах кабинета висели отформованные из папье-маше и раскрашенные желтые помидоры — копии полученных на одном кусте с красными путем прививки. Висели большие фотографии в рамках: знаменитый кавказский граб, на котором вырос лесной орех — лещина, и сосна из Прибалтики, породившая ветку ели. На специальной полочке, в центре стены, лежали крупные розовые клубни картофеля — знаменитый «Майский цветок», сверххранний и морозостойкий сорт, полученный ученым путем прививок и воспитания в сложных погодных условиях.

Федор Иванович оглядел все фотографии и отвел глаза. С некоторого времени им овладели сомнения. Насчет граба, породившего лещину, он твердо знал, что никакого порождения тут нет, что это простая прививка, шалость лесника. Он все не отваживался поговорить об этом с академиком. Но «Майский цветок» всегда прогонял его сомнения. Это был настоящий новый сорт, чудо селекции.

Академик не спеша причесал прямые серые волосы, начесал их вперед. Потом наложил на лоб ладонь с растопыренными пальцами. Быстро и резко повернув ладонь на невидимой оси, Кассиан Дамианович отнял руку — там теперь красовалась челка, которая приняла форму завихряющейся туманности. Об этой челке недруг-академик давным-давно, лет тридцать назад, тоже сказал свое слово: «Эта туманность предвещает рождение сверхновой звезды». И не ошибся.

Академик Рядно, крикнув, уселся за свой стол. Тут же секретарша внесла стакан горячего чаю в подстаканнике. Академик бросил в стакан большую таблетку, молча долго мешал ложечкой. Потом отхлебнул, пробуя свое лекарство и стуча при этом золотыми мостами. Как будто конь шевелил во рту стальной мундштук.

— Хочешь прокатиться? — спросил он вдруг, отставляя стакан. — Давай, сынок, собирайся. Правда, ты недавно был в командировке, но ничего. Время горячее, нам надо ездить. А потом будем отдыхать. — Тут он отхлебнул чаю, постучал зубами и отставил стакан. — Время очень горячее. Поедешь — сам увидишь. Да и видел уже. Происходит борьба идей. Идеалисты, мракобесы идут в наступление. Там, куда ты поедешь — а ты поедешь в город, где учил-

ся, — там, сынок, давно сложилось целое *кубло* вейсманистов-морганистов. После сессии, которая больно трахнула по их теориям и по ним самим, они заняли оборону. Но они знают, сволочи, куда направить удар. Они замахнулись на завтрашний день нашей науки — на нашу смену, на молодые умы. Отравляют...

Наступило молчание. У академика были крупные, вылезавшие вперед желтоватые зубы, и он время от времени натягивал на них непослушную верхнюю губу. Он недовольно смотрел в окно — прищурясь, глядел в глаза врагу.

— Там есть профессор — ух, Федя, старая, битая крыса. А второй — академик. Твой учитель, между прочим. Он, конечно, клялся, плакал на сессии... кричал... Ему теперь ничего не остается, кроме мертвой обороны. Как и тому, профессору. Только первый сам лезет, ты только подставь — он сам сядет на вилы. А академик — тот сложнее. В драку не лезет. Лекции перестроил, читает нашу науку. Пусть читает. А что он думает — сегодня мы можем пока оставить его мысли в покое. Пока. Пусть себе думает. Может, если еще одного воспитает мне такого, как ты, может, и простим. Ради этих двух я тебя не послал бы. У меня, сынок, есть сведения, что там действует подпольное *кубло*. Молодежь — студенты, аспиранты... А возглавляет их — есть там такой Троллейбус. Дошло до меня. Запомни — Троллейбус. Это не фамилия, а просто студенты прозвали. Фамилия выскочила из головы. Ну да ты узнаешь. Их компанию ты вряд ли сумеешь накрыть... А вот Троллейбуса — этого мне поймай. Интересно, что это за фрухт. Посмотреть бы. Он, конечно, тоже надел маску. Говорят, прививки делает — по нашей дороге вроде пошел. Как его разоблачить — ты там на месте подумай. До бесед с ним не очень снисходи. Знаешь, как Одиссей... Уши воском залепи и действуй. — Тут академик, ласково сощурив глаза, весь подался к Федору Ивановичу. — Что с тобой, сынок? Твой вид мне не нравится. Совсем не похож на Гектора, которого Андромаха снаряжает в бой. Не приболел? Или, может, выпил вчера? Бывает же и такое... А?

Федор Иванович действительно был бледен и вял, и настроение у него было такое, что хоть бросайся в ноги к шефу с покаянием: иссяк родник веры! Вчера почти до полуночи он, может быть в пятый или шестой уже раз, читал книжку Добржанского «Основы наследственности», которую прятал на дне своего чемодана. Странно — знаком с книжкой лет семь, но почему-то лишь вчера простые рассуждения, которые академик Рядно так весело высмеивал, — эти простые рассуждения вдруг испугали Федора Ивано-

вича, и он, вытирая вспотевший лоб, впервые сказал себе: это все надо проверить.

— Так что? Едем или не едем? — спросил академик. — Я могу послать и Саула. Уже чуть было не послал. Он в двух городах уже побывал, рвется в третий, ему драку только подавай. И личные интересы у него там есть. Амурные. Я просто подумал: сынок пусть поедет. Тут такой случай, что тонкость нужна. Интеллигентность. Пусть, думаю, посмотрит, поглядит, где молоко науки сосал. Где двойки хватал.

Услышав имя Саула Брузжака, Федор Иванович тут же решил все:

— Поеду, Кассиан Дамианович. Погляжу, где двойки хватал.

И академик Рядно, еще раз посмотрев на него, протянул ему журнал:

— Возьми вот в дорогу, посмотри. Там есть две статьи — Ходеряхина и Краснова. Это наши ребята. Они там тебя ждут. Познакомись. У них есть бесспорные достижения. Только помни — там встретишь и тонких казуистов. Умеют приспособить эксперимент к целям метафизики. Помнишь, что у Киплинга говорит закон джунглей? Сначала ударь, потом подавай голос.

Он умолк и стал смотреть с лаской на Федора Ивановича. Потом достал из кармана большой клетчатый платок — собрался протереть лежавшие на столе очки. Протянул руку к очкам, но в этот момент из платка просыпалась на стол земля. Академик развеселился:

— Хух-х! От черт! Это ж я так и не вытряхнул платок! Понимаешь, вчера на лекции достаю платок, и оттуда вот так — земля! Это я по делянкам лазил и вот — набрался... Любит старика земля, а? Так и лезет везде.

Растроганно качал головой, смахивая землю на пол. Потом положил палец на край стола.

— С тобой поедет Вася Цвях. Ты знаешь, он мужик боевой, выдержанный, член партии. Ты помоги ему написать доклад. А он тебе поможет. Давай, сынок, собирай чемодан.

К сожалению, академик так и не вспомнил фамилию того, кто возглавляет подпольное «кубло». «Ладно, — подумал Федор Иванович. — От меня не скроется этот Троллейбус».

И отправился в путь. И перед ним полетела весть, пущенная «знающими людьми»:

— Едет Торквемада. Начитанный, цепкий, ласковый Торквемада.

Погуляв по парку, побывав внизу около реки и обойдя все переулки между трехэтажными институтскими зданиями и службами, Федор Иванович взглянул на часы и отправился на ту улицу, что ограничивала опытные поля института. Громадное хозяйство было обнесено проволочной сеткой на столбах, и против этой ограды, среди высоких сосен, стояли, прячась друг от друга, одинаковые кирпичные домики с мансардами. Здесь жили профессора и преподаватели. Он сразу нашел дом академика Посошкова, открыл калитку и, пройдя между кустами роз, позвонил у дубовой двери. Открыла молодая, довольно рослая, почти белая блондинка, с двумя толстыми короткими косами, которые упруго торчали врозь, и с глазами, как бы испачканными черной ваксой. У нее были очень нежные голые руки с цыпками на локтях. «Она», — подумал Федор Иванович. Его провели в большую комнату, увешанную картинами. На видном месте висел портрет молодой работницы в красной косынке на фоне знамен и фабричных зданий. Федор Иванович сразу узнал работу Петрова-Водкина.

Под портретом на низком столике лежало несколько книг, и среди них вызывающе красовалось крамольное сочинение: Т. Морган. «Структурные основы наследственности» — с синим библиотечным штампом наискось: «Не выдавать». Застыв, Федор Иванович невольно расширил глаза.

Тут же спохватившись, он отвернулся и встретил внимательный взгляд блондинки, которая сразу опустила густо осмоленные ресницы.

Раздались четкие, быстрые удары бегущих ног по скрипучим ступеням. В этой комнате, оказывается, была лестница, ведущая на мансарду. Вдрагивая прижатыми локтями, вниз сбежал академик Посошков — все в том же выцветшем тренировочном костюме.

— Да? — сказал он, не узнавая гостя. И тут же просиял. — Эге, кто к нам приехал! Кто к нам прие-ехал! Федя Дежкин! Кандидат наук Федор Иванович Дежкин! Здравствуй, дружок... — Он мягко посмотрел на жену, и она вышла. — Садись, Феденька. Можешь не рассказывать, все знаю. Приехал немножко потрясти вейсманистов-морганистов. Правильно! Наконец-то Кассиан Дамианович взялся и за нас... У нас тут говорят, что ты у него правая рука. Ему бы еще и левую такую...

«Тогда бы вейсманисты-морганисты запищали», — хотел с обидой закончить его мысль Федор Иванович. Но ничего не сказал, только, чуть покраснев, уставился на академика. Тот не уступил: закинувшись в кресле назад, стал как-то сверху рассматривать своего бывшего ученика черными, как маслины, мягко горящими гла-

зами. У него было очень худое, с зеленоватыми ямами на щеках, почти коричневое лицо и коротко подстриженные серые усы.

— Время, Феденька, время, — сказал он. — Все-таки семь лет. За семь лет, говорят, все вещества в организме проходят обмен. Замещаются...

— Количественно, — возразил Федор Иванович. — Но не качественно.

Академик, видно, принял эти слова за намек на его вейсманистско-морганистское прошлое — дескать, горбатого могила исправит. Шире раскрыл готовые к драке глаза.

— Если вы действительно считали меня когда-то добрым человеком, если не ошибались, — Федор Иванович сказал это со страстью, — то таким я и уйду в могилу. Человека нельзя сделать ни плохим, ни хорошим.

— А как же исправляют...

— Светозар Алексеевич, не исправляют, а обуздывают. Успокаивают. Для кого существует аппарат насилия? Для тех, кого нельзя исправить.

— Да... — Академик вскочил с кресла и быстро прошелся по комнате. Еще раз посмотрел на Федора Ивановича. — Узнаю тебя, Федя. Это ты.

Вошла женщина. Они встретились глазами — академик и она, и Светозар Алексеевич, встав, склонив седины, сделал приглашающее движение:

— Чудеса! Самовар уже вскипел. Прошу к столу.

Поднимаясь, Федор Иванович нечаянно взглянул на столик с книгами. «Т. Морган» уже был прикрыт мичуринским журналом «Агробиология», где академик Рядно был одним из самых главных сотрудников.

Открывая стеклянную дверь, академик обнял Федора Ивановича.

— В Бога еще не уверовал?

— В Бога — нет. Но кое-что открыл. Для себя. Ключ вроде как открыл. Чтоб руководить своими поступками и разбираться в поступках других.

— Ого!.. Очень интересно. — Светозар Алексеевич взглянул на него сбоку. — Давай-ка садись, бери пример с Андрюши Пошкова.

За белым квадратным столом, красиво и по правилам накрытым для четырех человек, уже сидел белоголовый мальчик в холщовом матросском костюмчике и водил ложечкой в тарелке с оранжевой смесью: там был крошен хлеб и залит жидким яйцом.

Увидев гостя, мальчик встал и поздоровался, прямо взглянув ему в глаза.

— Вот видишь, здесь севрюга, — сказал академик, когда все сели. — Ты давай, давай, для тебя поставлено. Вот здесь — холодная телятина, прекрасно зажарена. Заметь — желе. Из нее натекло. А моя материя, — тут он снял тарелку с поставленной около него стеклянной банки, там был творог, — моя материя вступила в стадию решающей борьбы за сохранение своего уровня организации...

— Но вы же молодой! Вы же тянете на сорок пять лет!

— Тяну? Может быть, может быть... В школе мне объяснили закон сохранения энергии. И я всю жизнь старался эту энергию экономно расходовать...

«Не из соображений ли экономии ты уклонился от борьбы?» — подумал Федор Иванович.

— А как же ваши кроссы? — спросил он.

— Экономия — это уход от ненужных, бессмысленных драк, — сказал академик, как бы прочитав мысль гостя. — А кроссы — это борьба с энтропией. Лень, сон, покой — все это способствует энтропии, распаду, нашему переходу в пыль. Чтобы противостоять, приходится расходовать энергию! Так оно и получается — между двумя огнями. С одной стороны, экономия, с другой — расход. Ты, Федя, действуй. Обязательно вместе с куском захватывай побольше желе. Вот этот кусочек возьми — прекрасная вещь! — вдруг сказал он и горящими глазами проследил, чтобы был взят этот кусочек и чтобы на него был положен дрожащий ломтик желе. — Ну как?

— Мм! — благодарно промычал Федор Иванович с набитым ртом.

— А мне уже нельзя... Бери еще кусок. Бери, бери, — сказал академик, кладя себе творог. — Да, ты, видимо, прав. — Он прямо и с вопросом взглянул в глаза. — Доброго человека не заставишь быть плохим.

— Страх наказания и нравственное чувство — разные вещи, — сказал Федор Иванович, разрезая телятину и совсем не замечая, с каким особенным вниманием вдруг стал его слушать академик. — Страх — это область физиологии. А трусость — область нравственности...

На это академик вопросительно промычал сквозь творог. И еще выразительнее посмотрел.

— Трусость — это не просто страх. Это страх, удерживающий от благородного, доброго поступка. Трусость отличается от страха. Мотоциклист не боится разбиться насмерть. Носится как угоре-

лый. А на собрании проголосовать, как требует совесть, — рука не поднимается. Труслив. Хороший человек преодолевает в себе чувство страха, физиологию. Но если угроза очень страшная, такое может быть... Хороший человек и тот может дрогнуть. Это уже будет не трусость, а катастрофа. Но это не изменит его нравственное лицо. Человек останется тем, кем он был до своей гибели. И будет искать искупления... Я, конечно, имею в виду сверхугрозу, превосходящую наши силы.

— Я не согласна с вами, — сказала вдруг блондинка. — Все равно это будет трусость. И никакого оправдания...

— Не согласны? — спокойно сказал Федор Иванович, задумчиво взглянув на нее. — А если у вас кто-нибудь отберет вашего ребенка...

— Верно, верно, Федя! Молодец! — с необъяснимой энергией одобрил его академик, которого эти вещи сильно занимали. Он не почувствовал, что свою адвокатскую тираду Федор Иванович произнес специально для него и для его жены. Сам же «адвокат» смотрел на дело иначе. Он не простил бы себе такой катастрофы. — Серьезные вещи говоришь, Федя, — сказал Светозар Алексеевич. — Я думаю так: у человека, задумавшего кончить жизнь самоубийством, должен исчезнуть физиологический, как ты говоришь, страх. И трусость, подчиняющая его всякой палке, всякому кнуту. Но нравственное чувство будет продолжать повелевать. Он получает свободу от всего, кроме своей совести. И будет стремиться искупить вину. Меня, Федя, часто заставляет задуматься фигура Гамлета. Когда он узнал, что ранен отравленной шпагой, с него как бы свалились все оковы, связывающие доброго человека на этой земле. Он перестал быть подданным короля, стал гражданином Вселенной. Из него мгновенно испарилось все, что зависит от внешнего бытия...

Тут пришла очередь Федора Ивановича прислушаться. Для него это был новый аргумент, и он всей душой потянулся к интересной беседе. Но блондинка со звоном бросила нож на тарелку.

— Перестань! Даже страшно становится, когда он о Гамлете своем начинает. Как будто с жизнью прощается. Неужели нельзя о чем-нибудь еще!

— Да-а... — Светозар Алексеевич затуманился и притих. — У... у такого человека очень интересное правовое положение.

— Разрешите вам налить чаю, — сердито сказала блондинка Федору Ивановичу.

— Простите меня, пожалуйста, как вас зовут?

— Ольга Сергеевна.

Волосы у нее были прямые и белые, как строганая сосновая доска, и две ее толстые короткие косы по-прежнему пружинисто торчали врозь, как две плетеные булки. Она подала Федору Ивановичу чашку белой рукой с большим фиолетовым камнем на пальце. Принимая от нее чай, Федор Иванович почувствовал странную тишину в комнате и взглянул на академика. Светозар Алексеевич спал, уронив усталую голову. Слюна стеклянной струйкой скатилась на грудь, скользнула по выцветшему трико. Ольга Сергеевна поднесла палец к губам.

Через полминуты старик открыл глаза и некоторое время сидел так, приходя в себя. Вдруг совсем очнулся и пристально посмотрел на Федора Ивановича, на жену — заметили ли? Нет, никто не заметил. Гость положил себе еще кусок телятины. Ольга Сергеевна заглядывала на маленький электрический самовар. Мальчик пил свой чай, опустив глаза.

Успокоившись, старик положил за худую щеку ложку творогу.

— Ключ! — сказал он, шевеля усами, и задумчиво вытаращился на ложку. — Интересные вещи, Федя, говоришь. Ты что, уже проверил действие?

— Нет еще. Но в руке, похоже, держу.

— Да-а... Ты у нас сможешь его проверить. — Во взгляде академика опять появилась изучающая пристальность. Он немного боялся Федора Ивановича, и его клонило все к тому же — к цели приезда его ученика. И Ольга Сергеевна поглядывала на гостя с заметной тревогой. — Тебе, Федя, в твоём нынешнем положении этот ключ будет просто необходим, я так думаю, — сказал академик, помолчав. — Только не появится у тебя излишняя уверенность в правоте? Ключ ведь можно применять и при неправильной основе. В основе ты уверен?

— Мы с вами, Светозар Алексеевич, что вы, что я, одинаково в ней, в нашей научной основе, уверены, — краснея, сказал Федор Иванович. — Уж если учитель уверен, куда деваться его прилежному воспитаннику...

Академик закинулся на стуле, как он уже делал один раз, посмотрел на гостя как бы сверху.

— Ты, Федя, твердой рукой подвел меня к вопросу, на который надо отвечать стоя. Тем более что вы — член комиссии. — Он не заметил, как перешел с гостем на «вы». — Вот, слушайте: я полностью осознал вред, который могут причинить науке мои...

«Заблуждения или трусливые колебания?» — Федор Иванович ясно прочитал этот вопрос в быстром и вызывающем взгляде Ольги Сергеевны, брошенном на мужа.

— ...заблуждения, — твердо отчеканил Светозар Алексеевич. — И я честно не раз заявлял об этом с трибуны.

Попробуй поговори с чутким человеком. Никто не смог бы осторожнее коснуться больного места в душе академика, чем это было сделано. Притом сам ведь полез вперед со своей болячкой. Но, оказывается, и так касаться нельзя. Тем более при даме. Федор Иванович побагровел.

— А что я говорил! — мягко сказал он. — Я же говорил! Хорошего человека... Даже в экстремальных условиях... сделать плохим нельзя. Нельзя!

Они, конечно, тут же и помирились, и оба, затуманившись, обсудили феноменальную способность человека объясняться с себе подобными на тончайшем уровне.

— Конечно, другого такого ювелира, как я или как ты, не было и не будет. Ни во времени, ни в пространстве, — сказал Светозар Алексеевич. — Чудеса!

Спросить академика о Троллейбусе Федор Иванович остерегся. Тихий голос шепнул ему издалека: помолчи об этом.

Часа через два Федор Иванович быстро шел по одной из аллей парка, направляясь домой, то есть к одному из розовых зданий института, где ждала его комната в квартире для приезжих. Вдруг его внимание остановила редкостная фигура — осанистый и вельможный бородач, стоявший на перекрестке аллей. Чесучовые серебристо-желтые брюки, чесучовый балахончик с рукавами до локтей, алюминиевые туфли на женских каблуках, кремовая фуражечка с капитанской кокардой. Фигура у него была довольно статная, но с чрезмерным прогибом в талии — прогиб этот повторял линию тяжелого, отвислого живота. Бородач за чем-то с интересом следил.

— Иннокентий! — крикнул Федор Иванович. Он узнал местного поэта Кондакова.

Поэт показал счастливую, похожую на подсолнух рожу:

— Ты? Какими судьбами к нам?

И они пошли вместе по аллее, оживленно и громко беседуя. Федор Иванович вскоре заметил, что громкая речь поэта — при творство, что их разговор совсем Кондакова не интересует, что он взволнован чем-то. Потом поэт сделал рукой знак: «Минуточку!» — и, заработав локтями, виляя, ускорил шаг. Вот в чем дело — впереди шла молодая женщина. Поэт что-то негромко сказал ей. Она не ответила. Он ускорил шаг и еще что-то сказал. Она ответи-

ла с небрежным полуповоротом головы. Поэт догнал ее и забежал с одной стороны и с другой. Бедняжка споткнулась, он тут же подержал ее под локоток. Быстро переменял шаг и засеменял с нею в ногу, отставив зад. В конце аллеи женщина остановилась и долго говорила ему что-то педагогическое. Потом пошла дальше, а он остался стоять, поникший, — правда, ненадолго. Ликующий подсолнух его физиономии опять развернулся навстречу Федору Ивановичу.

— На охоту вышел? — спросил тот.

— Как ты догадался? — Поэт показал все свои кукурузные зубы.

— Так у тебя же, наверно, есть...

— Про запас. Природа не терпит остановок. Послушай, как тебе понравится это? — Он замычал, вспоминая какие-то строки, и, загоревшись, стал декламировать, успевая поглядывать и по сторонам:

Вот какой я — патлатый,
Синь в глазах да вода,
На рубаше заплаты,
Но зато — борода!

Пусть не вышел в герои
В малом деле своем, —
Душу тонко настрою,
Как радист, на прием.

И ворвется в сознание,
И навек покорит
Шум и звон созиданья,
Обновления ритм.

Басом тянут заводы
Новый утренний гимн,
Великаны выходят
Из рабочих глубин.

Все серьезны и строги,
И известно про них,
Что в фундамент эпохи
Ими вложен гранит;

А в полях, где сторицей
Возвращается вклад,
Где ветвистой пшеницы
Наливается злак,

Та же слышится поступь,
Тот же шаг узнаю,
И огнем беспокойство
Входит в душу мою:

Где же мой чудо-молот?
Где алмазный мой плуг,
Чтобы слава, как сполох,
Разлеталась вокруг?

И, задумавшись остро,
Думой лоб бороздя,
Выплываю на остров,
Слышу голос вождя.

Он спокоен и властен,
Он — мечта и расчет.
Не нашедшему счастья
Озаренье несет:

Нет, не только гигантам
Класть основу для стен!
Нет людей без талантов,
И понять надо всем,

Что и винтик безвестный
В нужном деле велик,
Что и тихая песня
Глубь сердец шевелит.

Ну и как? — Поэт взял Федора Ивановича под руку.

Тот знал, что надо говорить поэтам об их стихах:

— Здорово, Кеша. Особенно это: «На рубахе заплаты, но зато — борода». Твой портрет!

— Ты что, остришь?

— Да нет, ничего ты не понял. Ведь ты же не одежду описываешь, а характер, характер!

— Ну ладно, с этой поправкой принимаю. Еще что-нибудь скажи.

— Ты имеешь в виду речь Сталина, где он про маленьких людей? Очень здорово! Очень хорошо: «Великаны выходят из рабочих глубин».

— Молодец. Еще скажи. Хорошо критикуешь.

— «Алмазный плуг» — ты это, по-моему, у Клюева стибрил. У него есть такое: «плуг алмазный стерегут»...

— Еще что? — Кондаков отпустил локоть Федора Ивановича.

— Еще про ветвистую пшеницу. Пишешь, о чем не знаешь. Про нее рано ты сказал. Злак еще не наливается. Она ведь не пошла у нашего академика. Могут тебе на это указать...

— Самый худший порок в человеке — зависть, — сказал Кондаков.

— При чем же здесь...

— Федя, не надо. Не надо завидовать. Стихи уже посланы в набор.

Поэт, не прощаясь, резко повернулся и зашагал по аллее, и вид его говорил, что оскорбление может быть смыто только кровью.

Кондаков умел оставлять в собеседнике неопределенный тоскливый балласт. Все еще чувствуя в душе эту тоску, Федор Иванович вошел в комнату, которая в этом городе была отведена под жилье для приезжей комиссии.

II

На следующий день, в понедельник утром, в уставленном высокими тяжелыми шкапами кабинете кафедры генетики и селекции сидели, раскинувшись в креслах и на стульях, завкафедрой профессор Хейфец — с белым измятым лицом и жгучими восточными глазами, проректор академик Посошков, заведующий проблемной лабораторией доцент Стригалева и два цитолога — супруги Вонлярлярские. В самом темном месте кабинета все время бежало вверх фиолетово-голубое пламя спиртовки — хорошенькая девушка в очках, научный сотрудник Лена Блажко, варила в большой колбе кофе, разливала по пробиркам, похожим на вытянутые вверх стаканчики, и с изящными полупоклонами, как гейша, подавала собеседникам. Над столом профессора висел большой портрет Менделя. Монах в черной сутане с узким белым воротничком спокойно смотрел сквозь очки, скрестив руки на груди, держал какую-то книжку, заложив в нее палец. Рядом висел в такой же — дубовой — раме портрет Моргана. Старик с бородкой выглядывал из-за бинокулярного микроскопа, сдвинув очки на кончик носа, скептически смотрел на кого-то. На кого? На яркий цветной портрет Трофима Денисовича Лысенко, который разместился в большой раме напротив. Академик рассматривал в лупу колос ветвистой пшеницы «Тритикум тургидум». По слухам, он ходил с этой пшеницей к самому Сталину. Он будто бы обещал приспособить ее для наших полей, и это должно было дать пятикратное увеличение урожая. Пшеничка-то не пошла, а менделисты-морганисты не про-

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------|-----|
| БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ | 5 |
| НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ | 587 |